**ВСЮ ПРАВДУ ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ**

После Наполеоновских войн и ссылки их зачинщика на остров Святой Елены европейцы были уверены, что подобного кровопролития больше не произойдет. Многие фантасты и утописты позапрошлого века, рисуя век XXI, исключали из него войны – особенно такие, когда люди стреляют друг в друга из ружей и пистолетов, сходятся в рукопашной… «Конфликты будут улаживаться силой интеллекта и дипломатического искусства», – предрекали тогдашние властители дум.

Двадцатое столетие стало самым кровавым в истории цивилизации. Не особенно уступают ему два первых десятилетия века нынешнего. Кровавая жатва продолжается. Афганистан, Ирак, Северный Кавказ, Судан, Йемен, Непал, Ливия, Сирия, орды ИГИЛ, уничтожающие всё чужое, Донбасс…

Накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне хочется поговорить о военной теме в русской художественной литературе, вспомнить некоторых писателей-фронтовиков…

Начиная со «Слова о полку Игореве» война представлялась как беда, несчастье, горе, нечто ненормальное в мироустройстве. Особенно сильно это чувствуется в «Слове о погибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем», посвященным татаро-монгольскому нашествию. Но в то же время в этих произведениях поются гимны воинской доблести.

Беда, противное человеческой природе явление и доблесть с тех пор неизменно соседствуют и пересекаются в произведениях о войне.

Военную литературу можно разделить на ту, что писалась непосредственно во время войны и ту, что создавалась позже. Через двадцать-тридцать-пятьдесят лет.

Цель первой – поднять боевой дух, вселить веру в победу, облегчить военные будни. Цель второй – анализ того, что произошло, какими стали выжившие, победившие и проигравшие.

Впрочем, некоторые писатели начинали анализировать еще во время войны. Самый, пожалуй, яркий пример – «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Первый рассказ, «Севастополь в декабре», – это по сути репортаж из осажденного города, показывающий героизм защитников.
А уже в следующем мы читаем размышления автора о всякой войне, которая «или… есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

Толстой прибегает к сатире, описывая некоторых офицеров; герои становятся не такими уж героями. А главное – в разгар Крымской войны ее участник создает чуть ли не пацифистское произведение.

Чтобы сделать рассказ проходным, сотрудник журнала «Современник» Панаев добавил к нему слова: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной край, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови». Это оскорбило Толстого, позже он признавался: «Лучше получить
100 палок, чем видеть их».

Позже Лев Николаевич многократно подтверждал свое неприятие любой войны, даже оборонительной, войны за свою родину. Какая мысль проводится в «Войне и мире»? Что не надо сопротивляться нашествию, что захватчики сами устанут, их армия прекратит существование и растворится; толстовский Кутузов дает Бородинское сражение против своей воли, уступая желанию солдат. А кто такой пленный русский солдат Платон Каратаев, фрагмент о котором нас в школе заставляли чуть ли не учить наизусть? Сейчас бы Каратаева назвали коллаборационистом – он обслуживает французских солдат, шьет им рубахи, к тому же с удовольствием, называет соколиками, жалеет.

Лев Толстой воевал, по собственному признанию, «убивал людей». С его отношением к войне как таковой спорить, конечно, невозможно. Тем более что его поддерживали своим творчеством позднейшие литераторы, участвовавшие в войнах. От Гаршина до Прилепина в романе «Патологии» и финале книги «Некоторые не попадут в ад».

В 1970-е, на которые пришлось мое детство, было много книжек «для младшего школьного возраста», где о Гражданской и Великой Отечественной войнах писалось, лихо: красные рубили и рубили беляков, советские воины сотнями секли из пулеметов и автоматов фашистов. Если кого-то из героев ранили, достаточно было перевязать рану, и он мгновенно выздоравливал, снова бросался в бой.

Да, патриотическое воспитание, но ведь рядом были «Тихий Дон», «Разгром», «Два мира», «Гадюка», «Сорок первый», «Убиты под Москвой», «Они сражались за Родину», «Горячий снег», «Сашка»…
У меня до сих пор некое раздвоение в душе: где настоящая правда? В тех детских книжках, где всё ясно, разделено в тексте, как на иллюстрациях – вот светлые советские бойцы палят по врагам, а вот темные враги валятся на землю, или же те книги, где, если они о Гражданской, твердо не написано, кто свой, а кто чужой, а если о Великой Отечественной, то рассказывается, что наши не только били врага в хвост и в гриву, но и отступали, бежали, гибли куда чаще, чем враги…

К сожалению, тенденция лихих книг и фильмов о Великой Отечественной возродилась в последние годы. Порой создается ощущение: войну выиграли десяток снайперов и несколько диверсионных групп.

Понятно, что эта тенденция возникла в ответ на прозу и кинематограф 1990-х, когда взгляд на войну был таким: мы просто заваливали гитлеровские окопы трупами своих солдат. Теперь же одна группа советских диверсантов уничтожает чуть ли не дивизию гитлеровцев.

Это будет наверняка продолжаться. Ветераны уходят, свидетелей и участников войны всё меньше. Сказать правду уже почти некому. А тема-то не исчерпана, наоборот, на нее все больший спрос. Люди хотят смотреть и читать, как мы побеждаем.

«Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней». Эти слова приписывают Марлен Дитрих, потерявшей из-за прихода национал-социалистов к власти свою родину.

Наверное, она права. Да и у не бывших на войне попросту не получается. Выходят сказки, то страшные, то, как ни странно, веселые… Что они могут сделать достоверно, это представить человека во время войны. Из удач последнего времени – фильм Алексея Федорченко «Война Анны». Там по сути нет войны, а есть человек – маленькая девочка – которую хотят убить, сделать так, чтобы ее не стало на земле. А она прячется и всеми силами пытается на ней остаться…

Было время, когда общество очень ждало большой, исчерпывающей книги о Великой Отечественной. Такой книги уже, скорее всего, не будет. Остались десятки великих произведений, которые история, время наверняка соберут в единое полотно. Хотя, как написал Виктор Астафьев в одном из последних романах о той войне «Прокляты и убиты»:

«Всю правду о войне знает только Бог, и правда эта неподъемна».

Хочется вспомнить нескольких писателей-фронтовиков. Одни посвятили свое творчество событиям Великой Отечественной, другие сказали о ней немного, но и у тех, и у других герои в буквальном смысле опаленные ею.

**1. Человек внутри войны**

Василь Быков, по моему мнению, самый сложный из них. Нет, внешне его повести предельно просты – нет стилистических изысков, конструкций-лабиринтов, лексической игры. Строгая, порой скупая проза. Она сложна психологически. Почти каждое произведение Быкова заставляет долго, а то и пожизненно о нем размышлять, спорить с автором, его героями, самим собой.

Так случилось у меня с повестью «Обелиск», которую прочитал лет в двенадцать. Я тогда, как многие мальчишки – внуки ветеранов, – был буквально помешан на военной прозе. Атаки, связки гранат, танки, доты, матросы в бескозырках… И вдруг книжка о войне, но без сражений.

Школа, хромоногий учитель по фамилии Мороз, ребятишки чуть постарше тогдашнего меня. Почти обыкновенная жизнь, но – на оккупированной земле. Школа работает «с разрешения немецких властей».

Мороз хоть и связан с партизанами, но с фашистами не борется. Он учит детей… Симпатия рассказчика, Ткачука, односельчанина Мороза, явно на его стороне, хотя автор – а повесть построена как «рассказ в рассказе» – дает нам понять, что положение учителя очень непростое, отношение к нему у многих было и остается враждебным.

Однажды в школу приходят полицаи и немецкий офицер, устраивают обыск, допрашивают Мороза. Не пытают, не держат в неволе – быстро выпускают. Но ученики решают отомстить врагам: подпиливают мостик, по которому ездит единственная в округе машина, немецкая. Машина действительно проваливается, один немец гибнет.

Пацанов арестовывают, учителю удается добраться до партизан. Его зачисляют в отряд, выдают оружие. Но тут приходит связная и сообщает, что немцы требуют Мороза, иначе его учеников повесят.

Тайком, командир отряда его не отпускал, Мороз возвращается в село. Формально – дезертирует. Его поступок не спасает ребят – вешают всех. Лишь одному ученику удается спастись – он пытается убежать, в него стреляют, принимают за убитого, бросают у обочины…

Односельчанин Мороза заканчивает свой рассказ словами: «Героическая история!» Повествователь, в котором мы видим автора повести, уклончиво соглашается: «Возможно».

«– Не возможно, а точно. Или ты не согласен? – уставился на меня Ткачук.

Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным…»

Это наверняка писательский прием – чтобы автор не был полностью солидарен с персонажами своей книги, – но я уверен, что Василь Быков написал «Обелиск» для того, чтобы самому разобраться в таких людях, как Мороз, показать их нам, читателям. Тем более что в любой войне таких немало.

Я прочитал «Обелиск» до «гласности и перестройки», в те годы, когда прошлое официально было разложено по полочкам, свои четко отделены от врагов, нюансы похоронены. (Как оказалось, не так уж надежно – со второй половины 80-х наше прошлое станет важнее настоящего и будущего.)

Понятно, что тогда, году в 1984-м, меня удивляло, почему в повести Быкова так много полицаев, почему партизаны не бегут в атаку освобождать пацанов (а ведь таких книг, особенно для подростков, писалось множество – партизаны совершают смелые рейды, занимают железнодорожные станции и целые города).

Кажется, у Быкова я впервые встретил упоминание, что не все полицаи были абсолютными врагами – одного бывший партизан хвалит, говорит о нем «молодец». Про «репрессировать» и «реабилитировать» я тоже наверняка узнал из этой повести.

С тех пор я много чего прочитал, в том числе и книг вроде бы смелее «Обелиска», но образ учителя Мороза для меня до сих пор, наверное, самый сложный. Я то восхищаюсь им, то считаю чуть ли не предателем. Ведь мог бы пойти туда с винтовкой, попытаться освободить силой, а он решил договориться, поверил врагам…

Почти все повести Василя Быкова о войне. Точнее, об отдельно взятом человеке внутри войны. Именно так, по-моему, не «на», а «внутри». Что для нас, читателей и зрителей, война? Бои, сражения. У Быкова батальных сцен очень мало. В основном слепая перестрелка, ранение, попытки спасти раненого, жизнь в оккупации… И всё это реальные люди, которые каждый день хотят есть, которым холодно, которые во время войны могут страдать не только от ран, но, скажем, от банальной простуды и кашля, как знаменитый Сотников.

Войну Василь Быков встретил в июне 1941-го семнадцатилетним выпускником ФЗО на Украине, куда приехал из родной Белоруссии на стройку. Но вместо домов пришлось рыть противотанковые рвы. Потом фэзэошников пешим порядком направили на восток, и вскоре
Быков отстал от колонны. Задержал патруль, нашел карту, где он отмечал положение на фронте. Его посчитали немецким диверсантом.

Если верить страницам из книги воспоминаний «Долгая дорога домой», Быкова чуть не расстреляли: спас пожилой конвоир, по пути на допрос сказавший: «Беги, пацан!» И он убежал. А через некоторое время наткнулся на свою команду…

Потом были железнодорожная школа в Саратовской области, пехотное училище, из которого Быков вышел младшим лейтенантом. С осени 1943 года на фронте. В начале 1944-го тяжело ранен, по документам признан погибшим. Но выжил, вернулся в строй. Дошел до Австрии. Из армии демобилизовался в 1955 году в звании майора. Вскоре после этого начал публиковать прозу.

Наверное, то потрясение – когда его приняли за диверсанта и готовы были расстрелять (видел в кустах трупы своих сокамерников) – стало протосюжетом и «Обелиска», и «Сотникова», и «Западни», да, по сути, почти всех произведений Василя Быкова. И оно же, вероятно, послужило выбору позиции, которую он занял в годы перестройки и позже, когда СССР распался. Не берусь судить. Уверен, и Быков, и все остальные люди его масштаба хотели лучшего и Советскому Союзу, а потом России, Белоруссии, другим государствам, появившимся на его развалинах. Правда, каждый видел свой путь к этому лучшему.

Последние несколько лет гражданин Белоруссии Василь Быков прожил по существу в эмиграции – Финляндия, Германия, Чехия. Но умер на родине; попрощаться с ним пришли тысячи людей. Книги его переиздают, по ним продолжают снимать фильмы. Повести «Мертвым не больно» и «Сотников» входят в «100 книг для школьников», рекомендованных Министерством образования России. Так или иначе, наследие Василя Быкова – прочная часть драгоценного канона культуры, который, верю, разрушится очень нескоро.

**2. Русский офицер литературы**

С творчеством Бориса Васильева новое поколение, скорее всего, знакомо по фильмам. «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Я – русский солдат», «Офицеры», «Не стреляйте в белых лебедей»… Книги переиздаются и сегодня с завидной регулярностью, но того отклика, какой имели в 1970–1980-е, к сожалению, не имеют. Впрочем, редко какие произведения в полной мере переживают их авторов. Достоевского, разве что, Толстого, Чехова, Булгакова…

Но книги Васильева нужно читать. Пусть не все.

Он написал много, и что-то – например, его поздние историко-философские романы о князьях Киевской Руси – прошли почти незамеченными, и вряд ли обретут популярность; «Глухомань», роман о провинции 90-х, опубликованный в 2001 году, к сожалению, не вызвал широкого разговора; есть рассказы и повести, по моему мнению, справедливо забытые. А есть несколько произведений, прогремевших в свое время и до сих пор необходимых. Причем юношеству.

Да, Борис Васильев писатель в первую очередь для совсем молодых людей. Недаром родным ему стал журнал «Юность».

Мне повезло – я познакомился с лучшими произведениями Васильева в самом подходящем возрасте. Лет в двенадцать – четырнадцать, когда еще не стыдно плакать над литературными героями.

У нас в семье была традиция чтений вслух. Во время них я частью услышал, частью сам прочитал «Не стреляйте белых лебедей», «А зори здесь тихие», «В списках не значился». Позже перечитал их. «Не стреляйте белых лебедей» и сейчас в числе тех книг, к которым возвращаюсь.

Странно, что сразу после публикации, в 1973 году, этот роман критиковали за тенденциозность, идеализацию. Впрочем, некоторая идеализация, наверное, есть. Главный герой, Егор Полушкин, это своего рода квинтэссенция шукшинских чудиков. При этом утрированный. Он, взрослый, семейный человек, словно вчера родился на свет, жить по сложившимся законам и понятиям не умеет совершенно.

Конечно, умудренных людей это раздражало, а у тех, кто читал книгу только вступая в этот мир, Егор, конечно, вызывал сочувствие, становился своим… Помню, как мне было за него, шпыняемого, не раз обманутого, обидно, как было жалко убитых лебедей, его сына Кольку. До слез.

Шукшин в нашей литературе стоит особняком, и самый близкий к нему, по-моему, как раз Борис Васильев с этим романом. Кстати, я пытался выяснить, успел ли Василий Макарович прочесть «Не стреляйте…». Не нашел таких сведений. Но хочется верить, что прочитал.

Сходство усилилось с выходом экранизации со Станиславом Любшиным и Ниной Руслановой в главных ролях – фильма очень шукшинского. А может, просто очень русского…

Сам из семьи кадрового офицера, Борис Васильев тоже воевал, и, как у всех писателей-фронтовиков, война проходит глубоким шрамом через многие его книги. Даже те, где нет батальных сцен.

Настоящую известность Васильеву принесли «А зори здесь тихие…» и «В списках не значился». В них кровь, смерть, подвиг. Тот подвиг, что не попадал в сводки Информбюро, не стал переломным в самой страшной войне. Таких локальных подвигов были тысячи и тысячи, и именно они принесли Победу.

В повести «А зори здесь тихие…», опубликованной в 1969 году, использован прием, к тому времени уже достаточно распространенный в произведениях литературы и кино о войне: небольшое подразделение выполняет задание, и весь (или почти весь) гибнет («Звезда» Эммануила Казакевича, «Убиты под Москвой» Константина Воробьева,
«У твоего порога» Василия Ордынского).

Но повесть Васильева потрясает тем, что его герои – девушки-зенитчицы, находящиеся, по сути, вдали от фронта, на тихом участке, не-
опытные в военном деле, и их командир, старшина Федот Васков, хоть и знает устав наизусть, прошел Финскую, но тоже, по сути, гражданский человек. Наверное, неспроста он не на фронте, а служит комендантом разъезда.

И эти шесть невоенных людей останавливают немецкую диверсионную группу…

Я провел небольшой опрос среди молодежи. Абсолютное большинство видели фильмы (их теперь два) по этой повести, саму же ее почти никто не читал. Фильм Ростоцкого – конгениален повести, но все же язык кинематографа и язык художественной прозы – это разные вещи. А «А зори здесь тихие…» – проза самой высшей пробы.

Как и повесть «В списках не значился», действие которой происходит в Брестской крепости. В 1995 году по ней был снят фильм
«Я – русский солдат», пожалуй, лучший фильм о Великой Отечественной постсоветского времени.

В 1984-м, еще до перестройки, в глухое время правления Константина Устиновича Черненко, в «Юности» вышла повесть «Завтра была война». О старшеклассниках одной из воронежских школ. Я прочитал ее тогда же – мы выписывали этот журнал на протяжении нескольких лет. Многое мне, тогдашнему, оказалось не совсем понятным, многое неприятно удивило – как можно запрещать читать Есенина, за что арестовали отца Вики Любецкой, почему исключают из партии директора школы… Понял позже, когда пошли валом публикации о сталинских репрессиях.

Перестройка, ельцинский «переходный период» развели писателей по разным лагерям. Борис Васильев оказался в лагере «либералов», ему, знаю, многие не могли простить некоторые оценки прошлого,
подпись в «Письме сорока двух».

В последние два десятилетия его жизни о Васильеве, казалось, стали забывать. Но на прощании с ним в Центральном доме литераторов в Москве я увидел сотни людей. Его читателей…

Сам я был немного знаком с Борисом Львовичем – в нулевые мы несколько раз встречались. Меня удивляла его выправка и твердость его суждений, которые он произносил мягким, без надрыва, голосом. Бывают такие офицеры – офицеры-интеллигенты.

Журналист Андрей Максимов, сделавший в конце 1990-х цикл передач «В гостях у Васильева», назвал его «русским офицером литературы». По-моему, это очень точно.

**3. «Надеюсь: вдруг переверну мир…»**

«Боливар не выдержит двоих». Эта поговорка, подаренная нам
О. Генри, отлично подходит для литературы. Двоих не двоих, но пять десятков популярных авторов она в один временной отрезок иметь не может; через некоторое время после окончания определенного исторического периода (а в литературе тоже есть исторические периоды) остаются единицы. Их произведения переиздают, о них пишут статьи, спорят, цитируют…

Нынче из полноводной, глубокой литературной реки второй половины 50-х (когда началась оттепель) – начала 80-х (до перестройки) на слуху и на стеллажах книжных магазинов остались лишь несколько прозаиков. Другие если и не канули в Лету совершенно, то лишь упоминаются или в лучшем случае существуют одним-двумя романами, или повестями, или рассказами.

Отбор обусловлен не только степенью таланта, но и биографией писателя. Ровная биография, конечно, минус, а вот по интересной, драматичной или трагичной можно снять сериал или фильм, подогрев или возродив интерес к произведениям героя этого самого сериала или фильма. Может вернуть писателя – хотя бы на время – экранизация его текста, как произошло, например, с И. Грековой после «Благословите женщину», Олегом Куваевым после «Территории». Но это случаи редкие. Процесс забвения не остановить.

Тут не поспоришь, это происходит зачастую естественно. Но как жаль, что многие и многие большие, настоящие писатели забываются, их произведения уносятся рекой времен… Глеб Горышин, Виль Липатов, Евгений Носов, Александр Рекемчук, Сергей Никитин, Георгий Семенов, Юрий Куранов, Борис Можаев, Федор Абрамов, Дмитрий Голубков… Люди старших поколений наверняка возмутятся: мы помним, читаем! Но мои сверстники (за сорок) и люди моложе мало о ком из них слышали, а тем более читали. Книг найти всё сложнее, они практически не переиздаются, а старые ветшают, списываются из библиотек, выносятся внуками из квартир после смерти бабушек-дедушек; в интернете произведения найти можно, но кто будет искать – эти авторы, что называется, не на слуху.

Один из таких, постепенно забываемых, Владимир Тендряков.

О Тендрякове в последние десятилетия в основном упоминают через запятую. Советский писатель, много издавался, был в обойме, но в то же время кое-что писал в стол. Умер на пороге перестройки, в перестройку его произведения из стола издали, пообсуждали и отложили –
смело, но не высшие образцы прозы, не предельный пример смелости… В общем, он проходит по разряду «честный советский писатель». Писатель, что называется, второго ряда. Первый ряд символического книжного шкафа ведь не безразмерен, кто-то должен быть заслонен…

Владимир Тендряков из поколения фронтовиков. Ушел на войну в 1941-м после окончания школы. В 43-м был тяжело ранен, демобилизован. Мечтал стать художником, но стал писателем. Прозаиком. Суровым, строгим, жёстким.

Первая публикация в 1947 году – рассказ «Дела моего взвода». По-моему, это отчасти подражание прогремевшей тогда книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». С тех пор собственно о войне Тендряков писал очень мало и редко. Но фронтовики – еще крепкие мужчины –
встречаются почти во всех его повестях и романах.

Написал много. Говорят, писал постоянно. Заканчивал одну вещь и принимался за следующую. Творческих кризисов не испытывал, потому что абсолютное большинство сюжетов давала ему сама жизнь. Реальность.

Умер Тендряков в шестьдесят лет, словно рабочий, не представляющий себя пенсионером. Да он и был таким – литературным пролетарием. Умер на пороге нового времени – в 1984-м. В 1987–1989 годах вышло пятитомное собрание сочинений, в то же время и чуть позже были опубликованы еще несколько произведений из архива, в том числе «Охота», «Люди или нелюди», «Донна Анна», а потом начался медленный, но, к сожалению, верный процесс ухода в историю. А проще говоря, Тендрякова стали забывать издатели, литературоведы, читатели.

Единственная, кажется, за последние несколько лет статья о Тендрякове, которую интересно читать, – ненаучная, полемичная – написана Дмитрием Быковым. Со многими суждениями хочется поспорить, кое с чем согласиться. Но моя задача – не спор и не обозрение всего написанного Тендряковым за тридцать лет его творческой жизни. Я остановлюсь на повестях середины 1950-х – 1960-го. (Впрочем, обойтись без ссылок на статью Быкова вряд ли получится.)

«Не ко двору», «Ухабы», «Чудотворная», «Суд» – это не первые его произведения. Не ранняя проза. Это проза уже мастера, но в то же время человека, еще не ставшего пресловутым профессиональным писателем, наработавшим приемы, метод, стиль и уже чувствующим желание осваивать новые жанры (а реалист Тендряков немного позже окажется удивительным фантастом), разнообразить палитру.

Эти повести написаны без почти всегда и у всех неизбежной у кого ложки, а кого ведра дегтя в бочке меда. Деготь – литературщина, мед –
преобразованная в произведение художественной литературы жизнь.

В этих (и не только в этих) повестях Тендряков не играет стилем, смыслами, сюжетом. Он будто действительно переносит на бумагу саму реальность. Его рукой водит вера, что написанное им поможет улучшить жизнь, сделать людей честнее и чище… Эти повести написаны в короткий и удивительный период нашей истории, которую Дмитрий Быков в своей статье назвал «первой оттепелью» и определил ее рамки – со смерти Сталина до начала травли Пастернака (осень 1958-го).

Вот из быковской статьи:

«Оттепель пятидесятых была недоиграна, абортирована – а между тем по многим параметрам она была масштабней того, что при поддержке власти началось после 1961 года. Проблема не в том, что вторая оттепель была конъюнктурней. Проблема была в том, что эта вторая оттепель расколола советский монолит. Народ, который восторженно встретил оттепель-54 и доклад-56, в шестьдесят втором отнесся к происходящему крайне настороженно; и Тендряков был первым, кто зафиксировал этот перелом, потому что в это же время происходит перелом и в собственной его литературе».

По месяцам и годам проследить процесс изменения в мировоззрении писателя, естественно, невозможно, но после повести «Суд», заканчивающейся фразой, у любого, наверное, выглядящей пошлой, только не у Тендрякова: «Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести», – начатой в 1958-м и опубликованной в начале 1961-го, он стал писать по-другому. Не скажу хуже, но иначе, без абсолютной веры в силу прозы. А «Суд», «Ухабы», «Тройка, семерка, туз» он создавала наверняка как раз вот с таким чувством: «Когда пишу, надеюсь, что это будет великое, более того, – откровение. Надеюсь: вдруг переверну мир, но он все так и не переворачивается...»

Да, мир произведения Тендрякова не перевернули. Но прочитавший их, скорее всего – очень надеюсь – совершит в жизни меньше плохого, чем не прочитавший.

Приведу еще одну цитату из статьи Дмитрия Быкова:

«Все, что делал Тендряков, было в частностях неуклюже и подчас фальшиво, – особенно когда он ради проходимости вставлял в текст авторские отступления, долженствующие разжевать (или подменить) главную мысль. Но в основе своей он был писатель, умевший ставить неразрешимые вопросы – точней, неразрешимы они были в советских координатах, почему лучшие его вещи вроде “Ночи после выпуска” или “Расплаты” и оставляли такое саднящее, едкое чувство. Тендряков ставит вопросы, которые могут возникнуть только в уродливом мире, где религия табуирована, вопрос о смысле жизни неприличен, и все делятся либо на выродившихся лицемеров и лгунов, либо на вырождающееся подполье. То есть ответов у Тендрякова нет и быть не может –
ибо сама ситуация, порождающая вопросы, ложна, выморочна, болезненна. Все это споры в дурдоме о теории относительности, которой там никто толком не знает, – и книг по теме в дурдоме тоже нет. Какие могут быть моральные императивы в аморальном насквозь обществе, которое саму эту мораль объявило пережитком?

Но это общество было все же на несколько этажей выше того подвала, в который мы провалились сейчас. Не нам, феодальным, судить его советскость».

Слишком категорично, на мой взгляд. Вопросы, которые ставил в своих произведениях Тендряков, – вечные. Их ставили и русские, и зарубежные писатели задолго до советской власти. И тоже зачастую не находили ответа, а в найденные ответы читателю не верилось, потому что вопросы, которые ставит художественная литература, чаще всего не имеют однозначных ответов.

Может быть, такие выводы Быков делает потому, что в прозе Тендрякова много советского, а точнее – примет того мира, в котором живут герои его романов, повестей и рассказов? Действительно, взгляд и мозг часто спотыкается от обилия секретарей райкомов, комсомольских секретарей с их пылкими то правильными, то обманчиво правильными речами, которые, кстати сказать, вдоволь напародировали отечественные постмодернисты и концептуалисты первой волны.

К сожалению, новым читателям сложно разобраться в структуре того советского общества, понять детали бытия, мораль людей той затонувшей Атлантиды. Но так же спотыкаешься и читая произведения Салтыкова-Щедрина, Писемского, Лескова, многие страницы «Анны Карениной», в которых действует Константин Лёвин… Писатель, слишком точно пытающийся отобразить в прозе современную ему реальность, всегда рискует. Те, кто пишет вневременное или о прошлом, будущем, конечно, в более выигрышной ситуации – они отсеивают *мусор повседневности*. Но на самом-то деле этот *мусор* бесценен.

Филолог начала XIX века Алексей Павловский высказал простую, но точную мысль: «История древних народов между прочим от того нам кажется неясною, что мы не имеем подобных грамматик, писанных в их времена». Советский народ когда-нибудь для человечества станет древним. Но грамматика его создана, в том числе и Тендряковым. Главное – не утерять к ней ключи.

**4. Поэт с нагрузкой**

Русская поэзия 1930–1950-х годов сделалась неким белым пятном нашей литературы: прежние знаменитости забыты, их стихотворения почти не переиздаются и не цитируются. А ведь там, в этом белом пятне, немало настоящих талантов, интересных и сложных личностей. Например, Алексей Сурков.

Вообще-то он всего на пять лет моложе Есенина, на два – Мариенгофа; он на десять лет старше Павла Васильева, но крепко ассоциируется не с двадцатыми, когда литература вместе со всей страной бурлила и кипела, а с более поздним временем – временем порядка и дисциплины.

Впрочем, таких поэтов немало: Николай Тихонов, Степан Щипачёв, Павел Антокольский, Александр Безыменский, Илья Сельвинский, Владимир Луговской, Михаил Светлов… Они были разные, но никого из них я лично не могу представить молодым. Всё это пожилые, осанистые мужчины с портфелями в руках…

Ровесник века Сурков, наверное, действительно рано повзрослел. С двенадцати лет служил «в людях», в 1918-м ушел добровольцем в Красную Армию. За несколько месяцев до этого состоялся его литературный дебют – публикация стихов в «Красной газете».

В Гражданской войне Сурков принял непосредственное участие – бил беляков из пулемета, служил в разведке, участвовал в Польском походе, почти год провел в плену у эстонцев, потом подавлял крестьянское восстание на Тамбовщине…

В 1922-м вернулся в родную деревню, поднимал культуру, был селькором, продолжал писать стихи, и в 1924-м случилась публикация в «Правде». Чуть позже стал членом ВКП(б).

Через четыре года он был выбран делегатом Первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей, а после съезда остался в Москве. В том же году вошел в руководство РАППа; в 1934-м окончил Институт красной профессуры. Далее – общественная работа, множество должностей…

Почему я так подробно описываю биографию своего героя? Наверное, чтобы показать постепенность вхождения его в литературную жизнь. Без шума, эпатажных выходок, без преданных почитателей и ярых ненавистников. Конечно, была борьба, но не литературная, а идеологическая. И Сурков был скорее не свободным художником, а рабочим в цехе литературы. Не столько творил, сколько выполнял задания.

Первая его сборник – «Запев» – вышел в 1930-м. С тех пор книги издавались почти ежегодно, а иногда и по две-три в год.

Я помню Суркова и его сверстников, доживших до конца 70-х – начала 80-х. Они время от времени появлялись в телевизоре на трибунах разнообразных съездов. Старенькие, дребезжащими голосами пытались говорить зажигательные речи. Не знаю, кого они зажигали, кроме разве что таких же стареньких руководителей партии, сидевших над трибунами.

Стихи этих поэтов почти не читали, предпочитая тех, кто был до или после них. С одной стороны, Блока, Мандельштама, Есенина, Маяковского, с другой – Рождественского, Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского…

Я познакомился с творчеством – далеко, признаюсь, неполным – Суркова и его сверстников уже в Литературном институте. И увидел, что по таланту, заложенному в них природой или полученному в юности, многие сильнее поэтов Серебряного века, шестидесятников. Тот же Тихонов, Багрицкий, Луговской, да и Сурков.

Но талантом они распорядились как-то однобоко, что ли, отдали его общему делу, а поэт все же индивидуалист, одиночка, идущий наугад по бездорожью жизни, карабкающийся по скалам судьбы. Недаром многие поэты так рано умирают: падают с этих скал и разбиваются.

У Суркова есть стихотворение «Герой», написанное в 1929-м. Лирический герой в нем – прообраз Павки Корчагина, молодой парень, «безымянный гвардеец восставшего класса», «личность по части экзотики куцая», изглоданный «сыпняками, тревогами, вошью», учится «в огне, под знаменами рваными, в боевой суматохе походных становий», строит заводы, «орудует планами». И вот последняя строфа:

И совсем не беда, что густая романтика

Не жила в этом жестком, натруженном теле.

Он мне дорог от сердца до красного бантика,

До помятой звезды на армейской шинели.

По сути, позже это и станет романтикой: Гражданская война, восстановление страны, ударные стройки первой пятилетки… Показательно, что после публикации романа Островского «Как закалялась сталь» на автора посыплись обвинения в том, что написано слабо, герой, дескать, выдуманный. Но Михаил Кольцов, в то время популярнейший журналист, объявил: именно такой герой нам и нужен, и роман стали превозносить, а Павка Корчагин стал символом эпохи.

Алексей Сурков в основном писал о войне. Сначала Гражданской, потом Советско-финской, Великой Отечественной, затем так называемой холодной.

«Вот так вся жизнь – то хлопоты, то войны. / И дни без войн, как прежде, беспокойны…» «Видно, уж нам дорога такая – / Жить на земле от войны к войне…»

Во время Советско-финской и Великой Отечественной Сурков официально числился военным корреспондентом. Но приходилось и стрелять, и бежать в атаку, и отступать. В ноябре 1941 года он попал в окружение под Москвой, из которого чудом вышел.

Его лирика, в которой совсем нет отголосков войны, слишком тиха и нежна, ее даже сложно заметить, зато боевые, гневные, горькие строки врезаются в мозг…

Хотя по своему складу Сурков, конечно, был лириком. В чем иногда признавался в неподходящих, казалось бы, для этого обстоятельствах:

Трупы в черных канавах. Разбитая гать.

Не об этом мечталось когда-то.

А пришлось мне, как видишь, всю жизнь воспевать

Неуютные будни солдата.

Но нужно было зажигать людей на подвиг, не дать угаснуть ненависти к врагу.

И все же остался Сурков в русской поэзии как лирик. Точнее, как лирик-солдат. Стихотворением «В землянке». Его сейчас знают – знают буквально все – как песню. «Бьется в тесной печурке огонь…»

К сожалению, многие читатели да и литературоведы последнего времени не хотят узнать творчество Суркова глубже. А у него, например, есть такое поразительно-честное, горькое стихотворение, своеобразный поэтический собрат шолоховской книги «Они сражались за Родину». Написано летом 1942 года, когда наши войска отступали к Сталинграду через донские степи:

Жарища жаждой глотки обожгла,

Скоробила рубахи солью пота.

По улицам притихшего села

Проходит запыленная пехота.

Вплетенные в неровный стук подков,

Шаги пехоты тяжелы и глухи.

Зажав губами кончики платков,

Стоят у тына скорбные старухи.

Стоят, скрестив на высохшей груди

Морщинистые, старческие руки.

Взгляни в глаза им. Ближе подойди.

Прислушайся к немому крику муки.

Неотвратимый материнский взгляд

Стыдом и болью сердце ранит снова.

Он требует: – Солдат, вернись назад,

Прикрой отвагой сень родного крова!

– Остановись, солдат!– кричит земля

И каждый колос, ждущий обмолота...

Тяжелыми ботинками пыля,

Уходит в поле, на восток, пехота.

После войны Сурков занимал поочередно, а то и одновременно множество постов, должностей, подписывал коллективные письма, клеймил империализм, избирался депутатом. Стихов публиковал всё меньше, да и не очень они получались. И возраст, и занятость другими делами.

«Еще листок в календаре моем / Лег на душу, как новая нагрузка», – с печалью, прикрытой бодростью, признавался поэт.

Да, поэт. Обессмертивший себя по крайней мере одним, ставшим поистине народным, произведением.

**5. Россия живет, помнит, читает**

Об Астафьеве я знал с раннего детства. Именно *о нем* и именно *знал* –
прочитал его книги позже. В те доперестроечные годы уставшие биться о стену несправедливости люди выпаливали как последний довод, весомую угрозу: «Я вот Астафьеву напишу!» Не Брежневу, не Андропову, не в горком или крайком, а Астафьеву. И часто это срабатывало: его уважали и боялись.

Потом были книги… В последние годы много разговоров ведется о том, что нужно и что не нужно включать в школьную программу по литературе. Несколько раз обращались ко мне, предлагали составить список. Я отказывался. Иногда называл несколько произведений, которые, по моему мнению, было бы полезно прочитать лет в двенадцать –
четырнадцать. В том числе книгу Виктора Петровича «Последний поклон».

Он, кажется, очень мало писал специально для детей и подростков, но многие его рассказы и повести необходимы именно им. Они настраивают человека на настоящее. После рассказов из «Последнего поклона» начинаешь жить как-то иначе. Осмысленней, что ли. Внимательней становишься к тому, что тебя окружает, да и к себе самому.

Вообще мне сложно объективно оценивать прозу Астафьева. Дело в том, что я сам уроженец той самой Енисейской Сибири. И это великое счастье, когда в книгах встречаешь странные, необычные для городского мира слова, которые произносили твои бабушки, названия речек, деревень, гор, где бывал сам, описание ягоды кызырган, которая растет в Саянах, тугунка, рыбки, водящейся в Енисее…

Он долго жил вдали от малой родины, наверное, потому слова о ней у Астафьева такие проникновенные, красочные, точные. Он тосковал. Но тоска бывает благотворной.

В 1942 году, в восемнадцать лет, ушел добровольцем на фронт из Красноярска, а вернулся туда в конце 1970-х, в пятьдесят с лишним…

Его книги нередко нравоучительны, авторские оценки и суждения порой слишком резки и прямолинейны; персонажи отчетливо делятся на положительных и отрицательных. Иногда это мешает, а иногда помогает. Блуждать в лабиринте душевных переживаний не всегда нужно, хочется твердости и убежденности автора.

Астафьев шел на это сознательно. Он считал, что в советское время литература заменила церковь. И был проповедником.

Но в лучших своих творениях Виктор Петрович поднимает прозу до музыкального звучания, до истинной поэзии. Недаром его рассказы и фрагменты повестей и романов так любят брать чтецы. Да, Астафьева нужно читать вслух – даром слова он обладал сказочным.

Вот как начинается бесхитростный, но такой душевный рассказ «Гуси в полынье»:

«Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине – узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река встает».

90-е развели наше и до того недружное писательское сообщество. Развели они и читателей. Знаю тех, кто не может простить Астафьеву беспросветный и безжалостный «Печальный детектив», много не принявших роман о войне «Прокляты и убиты». О публицистике Виктора Петровича тех лет, о поддержке Солженицына и говорить нечего – врагов он нажил предостаточно. Впрочем, это судьба каждой крупной личности в России – всем мил не будешь.

Можно, конечно, досадовать, что «Печальный детектив» прибил только-только воспрянувших от одуряющего удушья застоя людей, что «Прокляты и убиты» вышли в первой половине 90-х, на гребне пере-
оценки ценностей, русофобии, ставшей в то время чуть ли не государственной идеологией. Можно спорить с автором и его книгами. Но это спор с великим, и такой спор идет нам на пользу. Это не какая-нибудь перебранка между собой…

После смерти Астафьева, Солженицына, Распутина в нашей литературе и общественной жизни образовалась пустота. Талантливых много, а больших – нет. И из этой пустоты несет едким, разъедающим нас сквозняком. Глыбы должны быть. Они укрывают, берегут, даже если ты этого не хочешь…

Астафьев уходил, как и многие сибирские старики, с тяжелым серд-
цем, обидой, чуть ли не ожесточением. После его смерти была опубликована записка, в которой были такие слова: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание».

Спустя годы почти то же произнес и Валентин Распутин: «Подошло время негодности этого мира».

Горькие прощания. Но тем более мы должны доказать, что мир наш не такой уж пропащий. Что Россия жива, она помнит и читает великих своих сыновей.

**6. Поэт русской прозы**

Время выветривает культурные слои. Остаются крохи, считаные имена. Одни увековечены благодаря великому и яркому таланту, другие – из-за необычной биографии, третьим помогло везение…

Евгений Носов был человеком скоромным, произведения его не порождали скандалы, ажиотаж, не запрещались. Для исследователей
Носов – фигура неинтересная. А именно исследователи, занимающиеся не столько творчеством писателей, сколько их биографиями, формируют пантеон классиков.

Евгений Носов – классик. Но классик тихий и почти незаметный.

Его причисляют к писателям-фронтовикам, писателям-деревенщикам. Да, он был и тем, и тем, но описанием сражений не отметился, деревенскую цивилизацию городской не противопоставлял, заявлений –
ни художественных, ни публицистических – не делал. На протяжении почти полувека Носов пытался запечатлевать мгновения окружающей его жизни. И делал это в прозе, по-моему, как настоящий поэт.

Вот из его рассказа «Варька»:

«Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари.
И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками».

Евгений Носов писал в основном рассказы – жанр стержневой в русской литературе, но традиционно неуважаемый критиками. Им негде разгуляться, не над чем поразглагольствовать. И чем тоньше рассказ, тем меньше откликов он получает. Это можно заметить по произведениям Чехова – о проблемных рассказах критики писали обильно, а вроде бы бесконфликтные, но глубоко трагичные, лирические – не замечали.

У Носова нет закрученных сюжетов, выпяченных конфликтов. Он передает еле уловимые вибрации души, настроения, часто описывает «пустяки», но те «пустяки», из которых состоит наша жизнь. Вот одно из редких его признаний, вкрапленное в рассказ «Во субботу, день ненастный»:

«Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни… написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства».

В восемнадцать лет Евгений Носов ушел на фронт. В феврале 1945-го
под Кёнигсбергом был тяжело ранен и вернулся домой, в село Толмачёво под Курском, двадцатилетним инвалидом.

Сначала стал художником-оформителем, потом появилась тяга писать прозу. В этом деле он и нашел себя. И посвятил свой талант воспеванию природы, людей. Но пел не дифирамбы, а негромкие, иногда слегка грустные песни. Песни-рассказы.

Наверное, как всякий художник слова, он не переносил реальность на бумагу один в один. Да это и невозможно. Но нарочитой недостоверности, фонтанирующего вымысла в его произведениях не встретишь.

Многим, знаю, скучно читать книги без этих фонтанов. Но у Носова есть другое: поэтичность прозы. Читать его рассказы лучше вслух, и тогда можно услышать музыку звуков, слов, предложений.

Несколько строк из рассказа «Шумит луговая овсяница»:

«Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотая головами, стирая с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна била маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.

А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины».

Какая завораживающая интонация! И какая плотность поистине художественных деталей – свежескошенная трава, по которой еще прыгают кузнечики; прилипшие волосы именно «стирают с глаз»; «ласка воды»; змеиные извивы водорослей; волны рвут на осколки опрокинутое в реку солнце; шеи, «будто из другой кожи»; «старые солдатские отметины» – зарубцевавшиеся раны.

Да, войны как таковой у Носова в прозе почти нет. Но почти в каждом произведении слышны ее отзвуки, герои – победители в той войне – навсегда физически или душевно ею искалечены. Например, Игнат из рассказа «Объездчик»…

Пожалуй, центральный его рассказ «Усвятские шлемоносцы» – о проводах на войну мужчин-крестьян. Большинство остальных – о тех, кто с той войны вернулся. Немногие. И сам автор – один из немногих, чудом выживший. И он смотрит на мир как на чудо, отмечая каждый штришок, каждую мелочь…

После 1980-х книги Носова стали издаваться редко, да и не привлекали массового читателя своими названиями. Он не умел или не хотел изобретать заманчивое; называл просто: «В чистом поле», «Вечерние стога», «Белый гусь», «Яблочный Спас»…

В 2001 году Александр Солженицын удостоил Евгения Носова, о котором не раз писал и которому выражал свое уважение, премией. Это стало последним проявлением признания таланта большого и честного русского писателя. На следующий год Евгений Носов умер на родной курской земле.

Тут хочется добавить: но произведения его не умрут. Как знать, как знать. Всё зависит от нас, читателей.